

Жизнь и искусство. Киев.

1896. 1 февраля. № 32.

С. 1-2.

Журнальное обозрѣніе.

Если жизнь не была для васъ „пустою и глухою шуткой“, если въ жизни вы „по-настоящему“, крѣпко любили, то вы знаете пытку тоски. Уже издали вы ее чувствуете, и сердце бьется тревожнѣе, сжимается больно. Но ближе, плотнѣе надвигается она на васъ и вдругъ, словно какое чудовище, охватитъ вашу душу своею беззубою пастью и жуется, пережевываетъ. И вотъ, когда все „нутро“ уже корчится и ноетъ, какъ испорченный зубъ, когда смалѣвшее воображеніе уже затолкало васъ, какъ слѣпца, въ такой закоулокъ мыслей, изъ котораго нѣтъ выхода,—въ это время, случается иной разъ, одна какая нибудь фраза, мелодія, образъ или просто одно слово, залѣзшія раньше въ вашъ мозгъ, продолжаютъ тамъ жить самостоятельной жизнью и нѣтъ-нѣтъ, да всплываютъ въ памяти.

—„Какой же вы роля... роля, просто-кваша“,—въ сотый разъ повторила моя память и въ сотый разъ вставалъ предо мной въ туманѣ тоски образъ героини разсказа А. Чехова, гордой, прекрасной, какъ воднѣе, дѣвушки, еще дѣтственно-невинной и уже потравившей стыдъ, чувственной, бездушнѣе и до-свѣтничной Ариадны („Русск. Мысль“ 1895 г. декабрь).

За окномъ была вѣга, рвала ставни, толкалась въ двери избы. Снѣга догорѣла. Я лежалъ и курилъ, курилъ до тошноты, до одурѣ...

О, тоска, кто тебя выдувалъ!

Наконецъ, а забылся, уснулъ и...

Во снѣ неутѣшно я плакалъ:

Мнѣ снилось...

Царела ночь, волшебная вѣснкая ночь. Въ божественной гармоніи неуловимыхъ звуковъ слышалъ земля и небо. Все заперло въ снѣгъ, все отдымало, жизнь едва теплилась. А тамъ, въ издѣлѣнной вышивкѣ, рѣла благодѣ, люба, такъ чудно свершалась тайная божественная мудрость, такъ, слышно было, прощались мѣся, трепетала жизнь безконечная...

И ты были одинъ: я и она.

Теплое—теплое на горизонтѣ, осыпавшее широкими мерцавшими звѣздами, небо, чѣмъ выше, тѣмъ становилось блѣднѣе, серебристѣе: въ зенитѣ блистала луна. И казалось, съ лучами тихаго свѣта лизали на усталую землю волшебныя мелодіи небснаго хора, наполнявшія душу неслыханнымъ блаженствомъ...

И мы были одинъ: одинъ въ этомъ храмѣ жизни и любви.

Я зналъ, что тамъ, далеко-далеко гдѣ то, есть еще люди, вѣдетъ обычная жизнь съ ея обычными зломъ и добромъ; но это все—„тамъ“, далеко гдѣ-то, а здѣсь... О, какъ трепетала моя грудь...

И мы были одинъ; одинъ подъ этими звѣздными шатрами, обвѣянные его тайнами, чарами, его мудростью и напоенные таинственнымъ трепетомъ жизни. А въ груди моей тоже звучала небсная музыка: я любилъ... О, какъ хорошо можно любить въ такую волшебную ночь. Я ничего не просилъ и все отдавалъ: счастьемъ моимъ было не нѣтъ своего ничего. Мнѣ хотѣлось стать такимъ маленькимъ и слабымъ; хотѣлось отдать возлюбленной всѣ свои силы, всѣ прекраснѣйшія движенія своего ума и сердца, чтобы, ставъ слабымъ и нищимъ, благословлять ласкающую, дающую руку ея...

И мы были одинъ...

Господи, какой божественно-прекрасной она казалась мнѣ! И въ ней я любилъ божество. Я молчалъ, трепеталъ. Сердце мое замирало отъ радости. Любить истинно фибрами души, любить Бога и правду Его больше себя, любить ее больше своей жизни, отдавать свою душу за други свои и беззаветно вѣрить—о, счастье, отбавися, чуть не кричалъ я... Костеръ догоралъ. Въ красномъ отблескѣ перегоравшихъ углей обступали васъ статліе дубы и пали. Внизу, у отлогого берега, чуть слышно журчалъ в. томъ рѣкѣ. Надъ нами свѣтлѣе залучено-блѣднѣе лоскъ тѣла. За палатъ, выше, ласково шуршала затѣнное небо. Блиди серебрились въ волнохъ туманъ туга а позла...

Мы были одинъ...

Чуть дышалъ въ лицо нашъ влажный воздухъ ароматами меда, земляники и чебрика. Чуть трепетала у нашихъ ногъ бриллиантовой зыбью рѣка. Чуть вздымалъ за спиною у насъ вочныи шорохъ лѣсъ. Гдѣ-то звѣдалъ соловей... И чудилось мнѣ, что сама волшебница—ночь поетъ намъ брачную тѣсню; что и нѣспя, и звѣзды шлютъ свой привѣтъ намъ; что самъ Творецъ этого чуднаго храма простеръ надъ нами благодатныя руки, благословляя союзъ нашъ... Душа моя была полна. Говорить я не могъ... Какъ подрѣзанный колосъ, склонилась моя голова на колѣна возлюбленной, и счастливыя слезы заглябли въ глазахъ моихъ. Трепетными пальцами ласкала она пряди волосъ моихъ; ея сердце дрожало у моего уха; ея дыханіе жгло мою щеку. И я плакалъ, плакалъ отъ счастья: тайна свершилась: двѣ жизни сливались въ одну, и я зналъ это.

Мы были одинъ...

И вдругъ она отг. лкнула прочь мою голову, вспрынула на ноги... Глаза ея злобно сверкали, блѣдныя щеки рѣбли румянцемъ, тонкія губы кривились брезгливой усмѣшкой...

—О, какъ прекрасна была она!

—„Какой же вы роля!“ медленно отчеканила она, и звенящій, бездушный, ядовитый снѣгъ воззвися въ мою грудь.

—Роля, Р-ля! А я такъ люблю васъ; я, Ариадна, люблю! Смотрите же, какъ я прекрасна! И люблю, люблю!... Медленно вскинула она полуобнаженные руки на голову, потянулась вѣтѣ тѣловъ въ истонѣ, улыбка лица озарила... И вдругъ волны ея чернѣли, блестящѣе, какъ агаты, волосы каскадомъ упали на ея плечи, на грудь, укрыли станъ...

—Роля, роля; а я такъ люблю васъ! Я такъ прекрасна!

И она топотала.

И со свѣтомъ сбѣжала она къ рѣкѣ, сорвала съ себя одежды и...

О, какъ прекрасна была она, а какъ жалка, гадка мнѣ!

Чому полюбилъ а? Кому нравясь сна-

Жизнь и искусство. Киев.

1896. 1 февраля. №32.

С. 1-2.

ценную жертву любви? Гдѣ дѣвалось новосчастье? Стыдъ и позоръ дрожали въ груди моей. И я плакалъ о потерянной рабѣ любви. Прекрасная какъ ангелъ, обаятельная, безстыдная—какъ наглый цорюкъ, она сладострастно подставляла свое изваянное, трепещущее тѣло лобзаванъ серебрястымъ волнъ и лучей луннаго свѣта; она наслаждалась сознаниемъ своей красоты и, не боясь ошибиться, ждала, чтобы я, какъ рабъ, какъ тигръ, подползъ лизать ея руки, забывъ стыдъ и любовь, не видя безстыдства ея. Миръ былъ для нея только рамкой ея красоты; душа—излишнею тяжестью тѣла; любовь—свѣтшюю игрушкой ума...

И она навела меня... Ахъ, какую прекрасною, дерзкою тварью природа создала ее!

Но жертвенцы тоже прекрасны бываютъ, однако, хоронять ихъ. И я хоронилъ свою любовь, хоронилъ возлюбленную женщину-друга въ виду прекрасной женщины-саники и плакалъ, горько плакалъ... И я бросился бѣжать туда, гдѣ тонула обычная жизнь, гдѣ люди страдали, боролись, гдѣ было много зла, много горя и не много радостей...

Во снѣ неутѣшно я плакалъ:

Мнѣ снилось, мы вѣселились опять.

Проснулся, а слезы все льются,

И я не могу изъ унять...

Вотъ какъ въ снѣ откликнулась моя тоскующая и критикующая мысль на рассказъ А. Чехова. Что-же еще сказать? Рассказъ написанъ складно, живо, талантливо, какъ вообще уметь писать А. Чеховъ, но большею мѣрою, для создания которыхъ не требуется ни глубокаго замысла, ни широкихъ обобщеній, ничего—крошъ чутья правды и остраго глаза художника, способнаго отражать своимъ образомъ поэтическаго творчества тотъ—другой уголокъ нашей страшной жизни. Что-жъ, по моему, и на этотъ большой спасибо писателю.

Въ разрозненной повѣстной снѣ, увлеченной отъ критическосты большаго запустѣния, выросла обольстительная красавица-дѣвушка Ариадна. Какъ она росла, пока не

росла въ женщину—о томъ А. Чеховъ не говорить. Была-ли она въ семьѣ ангелочкомъ-капризницей, считалась-ли дѣвочкой-убогоньей, баловала-ли ее мать, или тиранила начиха,—ничего этого изъ рассказа не видно: у обаятельной Ариадны А. Чехова уже нѣтъ ни отца, ни матери, одинъ только братъ, гошеопатъ, спирить, такой бѣлый, пухлый, да мягкій „точно сдѣланный изъ пареной рѣпы“. Вѣтъ изъ такого-то брата Ариадна „воду варяла“, „варить изъ него воду“, пожалуй, было не штука. Слова „мелюзга“ она не понимала, просить—не умѣла, требовать—лѣнилась и, погруженная въ свое великолѣпие, считала достаточнымъ для себя только желать: свои прихоти она понимала какъ законъ для другихъ. Приказывая, она говорила безучастно, задумчиво, и не въ лицо собесѣдника, а куда-то вдалѣ, черезъ плечо его, устремляла ея взглядъ. Протестъ казался ей невозможнымъ. И, дѣйствительно: желанія крыши сараевъ неожиданно превращались въ рысаковъ, урожай поля свободно выходилъ прелестнымъ викникомъ, рабочій снѣтъ легко появлялся удивительнымъ платьемъ. Какая житейская школа доковывала Ариадну идеѣ царственной власти, лишала дѣвической скромности и того, что зовется въ человѣкѣ сердцемъ,—А. Чеховъ не потрудился сказать; но въ конценту физической зрѣлости Ариадна уже могла любить только себя и была влюблена въ свою красоту. Все должно было склоняться передъ этой красотой, все было позволено ей, всему земному она была. Навѣрно-пугающая, деспотичная, капризная, черствая, когда нужно, шаловливая, ласковая, съ вышкой фантазій и остринъ, уже развращенный умъ,—Ариадна, дѣйствительно, была обаятельна. Натура богатая. Ахъ, эти натуры богатны! Онѣ—что богатымъ почва. Не дай снѣру волю зорья—протестъ на нѣтъ желанъ тирака, не брось зорья на богатую натуру—выростетъ она красавицей, бедной, да черт-поможетъ. Не того-то да вѣтъ у прекрасной натуры. Сердце вѣтъ. Не лѣтъ деспотъ ораше: ее глаголю и подчасъ такъ поспешно болеть...

Какъ всякая красота, Ариадна навела какъ-то тайнами своей царственной породы и могла казаться изящной и поэтической даже въ порокахъ своей нравственной наготы. „Могла казаться...“ кому? Да развѣ не всѣмъ намъ? вѣтъ, она была красавица. Развѣ не мы приучаемъ дѣтей своихъ любить не сущность, а форму: не свою честь, а почести, деньги; не добродѣтель, а красоту. Мы завидуемъ, если у пріятеля жена красивая; мы скорбимъ, если дѣти наши не красивы; мы изъ кожи вонъ лѣземъ, чтобы гнѣздо свое заставить красивою небелюю, увѣщать красивыми картинками, чтобы птенцовъ своихъ нарядить красивыми платьицами... А гдѣ-же въ домѣ у насъ прекрасныя движенія чувства и мысли? гдѣ безкорыстные порывы, благородная гордость? гдѣ уваженіе къ человѣческой личности, гдѣ добродѣтели наши? Въ заботахъ о красотѣ нашей квартиры, намъ недосугъ заппинаться красотой души. Въ поклоненіи внѣшней красотѣ выросли мы, тому же кланяться учимъ и дѣтей своихъ.

Ариадна была красавица—сто грѣховъ прощается ей.

И вотъ закружился около этой красавицы молодой сосѣдъ—попѣщикъ Шапокинъ. Скромный, доверчивый, съ любящей душой, настроенной на романтическій ладъ, онъ проорывалъ возвышенную душу за прекрасной оболочкой Ариадны и совершенно не чуялъ безобразія этого пустаго нѣста. Естественно, онъ кончалъ тѣмъ, что полюбилъ прекрасную дѣвушку, полюбилъ настолько трогательно, что „даже отпечатки ея прекрасныхъ пошекъ на пескѣ вызывали въ немъ радость, страстную жажду жизни“. Страстная жажда уже топила и Ариадну. И вотъ, вотъ она была холодна, какъ вообще всѣ деспоты; вотъ въ печатѣ свѣтъ представляла себя по вѣнчикъ нѣтъ книгъ; вотъ въ будущемъ ее долженъ былъ окружать рой графовъ, князей и послѣднихъ, —однако, поутра въ свѣтъ назначенію, ей страстно хотѣлось откликнуться любовью на любовь красиваго попѣщика: „вѣтъ это такъ пошлочно“, это диланіе назваться люб-

С. 1-2.

ленивой, эта жажда поэзии въ прозѣ заговорила въ ней, наконецъ, настолько опредѣленно, что въ одинъ прекрасный вечеръ она обвила прекрасными руками шею своего обожателя и поцѣловала въ уста; но... не улыбайтесь, господа: чуткій, романтическій обожатель *видѣлъ*, что обожасемая не любитъ его, что поцѣлуй этотъ—только экспериментъ въ любовнательности, и „ему стало страшно“.

— „Эти ласки безъ любви причиняють страданіе,“—сказалъ онъ.

— „Какой-же вы роля!“—отвѣтила Аріадна съ досадою и отвѣтила такъ не безъ основанія, ибо, согласитесь: *видѣть* за прекрасными формами возвышенную душу, *видѣть* при этомъ эти самыя ласки и, не взирая на все это, *видѣть*, что тебя не любятъ,—согласитесь, для этого надо быть или ролей, или печтателей изъ той страны, описанной Свинфтономъ, въ которой всѣ настолько философы, что, безъ удара хлопнушкою въ лобъ, не могутъ ни видѣть, ни слышать, ни понимать другъ друга. Вскорѣ послѣ этого объявленія истинныхъ чувствъ, въ горизонтѣ появилась новая личность: „занятый господинъ“, по нѣтъю пошлѣнчичахъ кучеромъ, ну жъ покинутой женой своей, нѣкій Лубковъ. Этотъ былъ совсѣмъ не изъ печтателей и ниталъ совершенно особую вѣжливость къ природѣ: лаская барашка, онъ приговаривалъ: „хорошо бы тебѣ, каналью, зажарить“; либуясь пейзажемъ, печталъ: „хорошо бы чашку здѣсь понить“; встрѣчался съ женщиной, онъ оцѣнивалъ ее по статьямъ, какъ барышникъ. Некрасивый, наглый, но глупый, распутный, онъ очаровалъ Аріадну; а она... Она вычитывала своему ролю—обожателю:

— „Вы расудительны, какъ старая баба. Женщины простить дерзость и наглость, но не простить расудительности“...

И вдругъ Аріаднѣ захотѣлось вѣзть въ Италию. И она укатала. Лубковъ убѣжалъ за ней. Шамохинъ хотѣлъ застрѣлиться, но истотъ арестованъ вырвался изъ рукъ и вынулъ на Кавказъ. Въ Италию Аріадна ввела своего сдѣланнаго вѣжливъ а, рѣшима старая орелъ

дѣтвенницы, пренебрежительно рвала съ Лубкова все, что могло дать это животное. Но ни кивья, ни графы и посланники не являлись; деньги Лубкова истощались; а южное небо было такъ нѣтъительно, жаржа и дичъ такъ восхитительно... Тонко-нервной Аріаднѣ естественно было желать нешпожко поэзии къ прозѣ, и вотъ она стала звать своего чистаго „ролю“: описывала, какой рай окружаетъ ее, какъ тоскуетъ она въ этомъ раю за „красивыми, унылыми, влюбленными глазами“. И все это за подписью: „брошенная вами“, „забытая вами Аріадна“. „Брошенная“, „забытая“... Если вы можете понимать наивную душу страсти влюбленнаго печтателя, то не удивитесь, что въ головѣ Шамохина помутилось. Но никакъ не, какъ прихотливо тонокъ вкусъ распутницы, какъ удивительно понимаетъ она психологию сердца. Сытая страстью презираемаго ею животного, Лубкова, она зоветъ къ себѣ частаго, влюбленнаго печтателя, оплеваннаго ею; жаждетъ прилѣпиться къ запаху окружающей ее грязи шотландскъ чувствъ ароматъ истинной любви. Шагъ смѣлый до дерзости, но съ какими нѣтъными и пераками расчетомъ онъ сдѣлалъ. Она—, *тоскуетъ за унылыми, влюбленными глазами*. Она—, *забытая*, „брошенная“. Она-ли тоскуетъ? Она-ли забыта? Она-ли брошенная? Все это наглая ложь; а между тѣмъ... „Забытая“, „брошенная“... Я вижу, какъ тлеются нервы изъ души любящаго „роля“. Черезъ недѣлю онъ былъ въ Аббадѣ. Встрѣча вышла нервная, чуть не со слезами. Черезъ день на душѣ у Шамохина было уже легко, ибо Аріадна говорила Лубкову „о“, а ветеронъ прощался съ нѣтъ „до завтра“.

— „Голубчикъ, милый, хорошій вы, подружитесь съ Лубковымъ“,—считывала она, прикидываясь вѣжливъ къ Шамохину:— „онъ такой несчастный: жена и вѣтъ его просто ужасны“.

На радостяхъ, деньги изъ кармана влюбленнаго „роля“ переходили въ булавки подлаго любовника и небрежно швырялись оттуда ручками разбѣдася, адождася фантатизма, истинной распутницы. Сомнѣнія

Шамохина разсѣвались. Его подрѣзанная любовь окрылялась. Поэзия прибавлялась.

И вдругъ гнусная правда неожиданно стала вѣтъ всякихъ сомнѣній. Уже закурившійся въ душѣ Шамохина финіанъ любви дохнулъ въ лицо ему такіе сирадонъ конюшни, а свинское распутство его возлюбленной разожгло въ нѣтъ такую скотскую ревность, что черезъ недѣлю онъ былъ уже у себя дома, въ деревнѣ.

Прошла зима, настала весна. И вдругъ—письмо, „нервнымъ почеркомъ, съ кляксами“: Аріадна *безконечно несчастна*, Аріадна *умоляетъ спасти ее, протянуть руку помощи*... Сидѣся, кто можетъ—нѣтъ страшно. Если безобразная фурия, въ образѣ, наприхѣтъ, тещи, отравившая вашъ жизнь, въ покаяніи взываетъ, что она *безконечно несчастна, умоляетъ спасти ее, простираетъ къ вамъ руки*, которыми драла глаза ваши,—сердце ваше ужели не дрогнетъ? А здѣсь—обалыне красоты, шопотъ дремлющей страсти, натаскъ всколыхнутой изъ душѣ прощающей любви... О, Аріадна прекрасно знала всѣ пружины чуткаго сердца и безстрашно хватала за душу. Какое ей дѣло, что эта душа можетъ изойти кровью, что нужна она ей только затѣтъ, чтобы искверкать, расгнѣтъ ее и бросить, какъ тряпку? Какое ей дѣло: пусть нѣтъ погибнетъ—она будетъ жить, какъ ей хочется.

Опять сорвало Шамохина съ нокря. Въ Ринѣ Аріадна зарыдала и бросилась сланову, виллову „ролю“ на шею.

Въ Ринѣ она уволела его:

— „Не вспоминайте нѣтъ про эту тварь“... Лубковъ, понятво.

Въ Ринѣ она съ отращеніемъ ему объявила:

„Никогда я его не любила. Онъ нагазетъ, беретъ женщину приступомъ, а это прилеласельно“.

Въ Ринѣ, нѣтъю склонясь къ воссражденному и погнѣтому „ролю“, она печтала:

— „...Любите меня нешпожко. Вы расудительны, бѣтсѣтъ отдѣлаться порну... Нѣтъ честный, вы снотой, а нѣтъ такъ люблю“.

Жизнь и искусство. Киев.

1896. 1 февраля. N:32.

С. 1-2.

Въ Римѣ Шапокинъ сталъ любовникомъ Аріадны, ея рабѣ, познавъ всю глубину ея лукаваго развращеннаго ума, всю перзость холода и растлѣнія ея души, познавъ муки понинанія своего позора; но оторваться отъ любовницы уже не могъ.

Выкиньте въ психологію Аріадны, поймите сѣбѣ ея, граничащую съ восторгомъ вдохновенія, оцѣните ея вѣру въ себя, въ свой заковъ и ужаснитесь: тому, чье истерзанное ею-же сердце, еще теплится искреннѣе чувство, она у постели, еще изнятой любовникомъ, клянется, что эту бѣжавшую „тварь“ она никогда не любила, и лишь привлекательно въ ней было „нахальство брать женщину приступомъ...“ И тутъ-же она вѣжно шепчетъ: „любите меня нежножко... Мой чистый, мой святой, я васъ такъ люблю“... О, кто далъ Аріаднѣ эту сѣбную вѣру въ себя, въ безграничную власть своего бездушнаго тѣла? Вѣдь эта вѣра ужасна!

Вглядитесь въ сиравую пучину ея психологіи, выкиньте въ асторію паденія и позора скромнаго, чистаго любящаго Шапокина и... и, если можете, не повѣрьте А. Чехову, назовите разсказъ его—клеветой. Вреняшло, и съ нимъ шла впередъ Аріадна. Жестокая, лживая, лукавая, обжорливая и лѣнивая, она, не любя, насыщала свой любовный голодъ и поныкала насущнымъ рабѣ своей красоты. Любить она ничего не могла; но неутолимая жажда поклоненія томила ее, и она была-бы счастлива, если-бы всѣ, какъ волки зимой, рвали другъ друга, добываясь ея, а она, какъ волчица, тайно отдавалась-бы на чашь болѣе сильному. Торговать своей красотой „расхиточно и на выносъ“ подъ выѣской вышей натурой было для нея уже настолько-же просто, какъ вѣшать платья; и если она не ходила голой, то только по „независимымъ обстоятельствамъ“. Въ ея угрозы—лечь голой на цѣти,—въ угрозы, брошенныя любовнику, надѣвшемуся поученіемъ, сказавшемъ ей: „цѣти; на цѣтахъ ея божественное тѣло; вѣкругъ жадные взоры; она улыбнется; она богата; она перахлѣбно ширитъ; сама добродѣтель сама ищетъ и въ про-

хѣ таянется къ ней... Да и можетъ-ли быть добродѣтель, когда есть царственная красота ея трепещущаго тѣла? Когда она сама добродѣтель?...

Нѣтъ, это уже не распутство: это—культъ сладострастія, и Аріадна только одна изъ весталокъ его. Еще недавно породилъ изъ насъ первыи вѣкъ въ незаконной связи съ безпутьнѣйшимъ изъ греческихъ боговъ—олимпійцевъ. Вскормило изъ декадентства. Унаследовавъ отъ матери усовершенствованную нервную организацию со всѣмъ богатствомъ накопленныхъ идей и привычекъ мозга, онъ по-отцу лишенъ узды нравственнаго чувства, какъ свинья лишена возможности видѣть солнце.

Родовые признаки этихъ существъ таковы: чрезвѣрно тонкая впечатлительность при грубости инстинктовъ; поденжвость и поэтическая складка ума при цинизмѣ помысловъ; влюбленность въ себя и жажда игры ощущеній при холодности натуры и, наконецъ, художественное безсознательное творчество въ области вѣры, поэзіи, чувствъ, лжи и лукавства. Гнусно распутныя, изворотливыя и кровожадныя, онѣ съумѣютъ обернуться страдальцами даже въ угарѣ своего разврата и съумѣютъ во всѣхъ вужныхъ случаяхъ настроить нашу душу на самый возвышенный ладъ. Чувственныя—онѣ могутъ казаться сверхчужеземными; сотканными изъ грязныхъ помысловъ—онѣ могутъ уноситься мыслью къ чистѣйшимъ идеаламъ правды и добра. Дѣтери одного отца, блуда, всѣ онѣ поэтичны, насгичны, чувственны, ширитъ въ свою вышнюю организацию и убѣждены, что только глantz сѣбного можетъ гладѣть на нихъ божъ воздѣленія. Но, по злопрядности своей, онѣ распадаются на двѣ шайки: весталокъ—распутницъ и весталокъ—показавъ. Первыя—красавицы, вторыя—лжодѣвѣ. Первыя могутъ быть стирванны до наготы; вторыя, въ лукавой невинности, приправятся фальшивъ. Первыя тогъ и катро, по прихъ дѣлутъ въ грязь и по-горе; вторыя—подать, издѣлныя, по сѣбному берегу грязь, вѣбуть отъ сирады ея и, расхлѣвая глantz частой любви, берегутъ свое погудное тѣло, какъ священный сосудъ.

Весталка—распутница, пробуждая животныя страсти, усиливаетъ любовь и, въ концѣ концовъ, открывенная до пинизма, хитѣльная, озвѣрѣвшая, верзѣтъ душѣ вашей, если тѣло еще не вѣбтъ власти оторваться отъ нея. Весталка—монахиня... О, эта злѣе: въ расхитливой дѣтской невинности всегда чуть прикрытая, она разжигаетъ пламя любви и, когда вспыхнетъ въ насъ огонь страстнаго чувства, она, эта раздѣтая скромница, въ священномъ ужасѣ открывенія, прячетъ на-глухо соблазны своей наготы; она питается отъ васъ, какъ отъ чорта, клянется въ чистотѣ своихъ помысловъ, въ своемъ ребяческомъ невѣдѣніи зла; она прощаетъ вамъ, ибо Богъ милосердъ, молитъ простить ее и забыть; рукой вливаетъ она дружескій въ вашу отравленную душу бальзамъ своихъ „человѣческихъ“ чувствъ и, горюющая, чистая, уходитъ, пресытившись сладострастіемъ своего мозга, уходитъ, унося ваше сердце, высосавъ изъ души вашей всѣ соки любви и подорвавъ на всю жизнь силы вашего тѣла.

Загляните честно себѣ въ душу гг. Шапокины, или-же вамъ лѣгонтъ, и скажите: не сидитъ, не сидѣла-ли тамъ эта чортова кукула, эта судорожная выдумка околѣвающаго материализма? А если сидѣла, то... Что несете вы своей невѣстѣ: живое-ли, рвущееся сердце, или истрепанный пѣшокъ для чувствъ, издѣденный воспоминаніями? Чѣмъ богаты вы, помимо расхитаній, воспоминаній и постыднаго опыта? Капните огонь чувствъ отогрѣете вы голубку—подругу своей жизни, если горе, случай, собственная честь вагонятъ насъ въ сирой и злододный уголъ? Размншленіемъ? Философіей? Провѣдью христіанскихъ добродѣтелей: терпѣнія, кротости?... Правда: безъ нихъ жить невозможно; но прожить горькую жизнь только имъ—это еще невозможно!

Читатель.